



Игорь Кон

80 лет одиночества

«WebKniga»

Кон И. С.

80 лет одиночества / И. С. Кон — «WebKniga»,

Новая книга известного российского ученого-обществоведа И.С.Кона представляет собой род интеллектуальной автобиографии. Игорь Кон всю жизнь работал на стыке разных общественных и гуманитарных наук: социологии, истории, антропологии, психологии и сексологии. С его именем тесно связано рождение в России таких дисциплин, как история социологии, социология личности, психология юношеского возраста, этнография детства, сексология. Некоторые его книги ломали привычные представления и становились бестселлерами. Свободно, занимательно, порою весьма самокритично Кон рассказывает о себе и своем времени: как формировались его научные интересы, что побуждало его переходить от одних проблем и дисциплин к другим, насколько свободным был этот выбор и как его личные интересы пересекались с проблемами общества. У современников автора это может пробудить собственные воспоминания, а молодежи поможет лучше понять наше недавнее прошлое, которое, возможно, не такое уж прошлое...

© Кон И. С.

© WebKniga

Содержание

Предисловие	5
Времена и нравы	7
Часть первая	12
Детство и юность	12
Вологодский пединститут	26
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Игорь Кон

80 лет одиночества

Предисловие

Много ли мы знаем жизнеописаний, рисующих безмятежное, спокойное непрерывное развитие индивидуума? Жизнь наша, как и то целое, составными частями которого мы являемся, непостижимым образом складывается из свободы и необходимости. Наша воля – предвозвещение того, что мы совершим при любых обстоятельствах. Но эти же обстоятельства на свой лад завладевают нами. «Что» определяем мы, «как» редко от нас зависит, а «почему» мы не смеем допытываться...

Иоганн Вольфганг Гёте

Идею этой книги мне подсказал директор Института этнологии и антропологии В. А. Тишков. После того как я никому не напомнил о своем семидесяти- и семидесятипятилетии, Валерий Александрович сказал, что надо бы подготовить по этому случаю какой-нибудь сборник статей. Однако отвлекаться от собственной работы ради составления сборника «имени mine» неинтересно, а обременять этим посторонних людей (сотрудников в строгом смысле слова у меня нет) неэтично. Честно говоря, я вообще не люблю юбилеев – очень уж они напоминают похороны. Единственная разница, что покойник спокойно лежит и слушает, как его хвалят, а юбиляр, если он сам или его друзья не подсуеются, то и дело будет ощущать, что его недохвалили. Конечно, когда хвалят – приятнее, чем когда ругают, тем более что хотя на чужих юбилеях люди фальшивят, на твоём они говорят чистую правду. Но я человек скептического склада ума, стараюсь не доставлять окружающим лишних забот и от круглых дат обычно уезжаю; если доживу и сумею – поступлю так и на сей раз.

К тому же междисциплинарность моей работы делает такое сборище затруднительным. Если пригласить не только этнографов, но и социологов, философов, психологов, демографов, педагогов, историков, культурологов, сексологов, андрологов, к работе которых я был так или иначе причастен, институтский зал окажется недостаточно вместительным, а если кого-то не известить – могут быть обиды. Так уж мы устроены: когда куда-то зовут, думаешь, как выкроить время, а если не зовут, обижаешься, что тебя забыли.

Два сборника избранных статей – «Социологическая психология» (1999) и «Междисциплинарные исследования» (2006) – с большими автобиографическими предисловиями я опубликовал вне связи с юбилейными датами. Но все-таки восьмидесятилетие – дата серьезная. Почему бы между двумя новыми научными книгами «Мужчина в меняющемся мире» и «Мальчик – отец мужчины» не сделать легкую автобиографическую паузу? Сделай паузу, скушай «Твикс».

Этой книгой я как бы говорю своим коллегам (друзья – совсем другое дело, они помнят о тебе не только по праздникам): пожалуйста, не беспокойтесь, все хорошее о себе я рассказал сам, а плохого на юбилеях говорить не принято. Пока удастся – будем продолжать работу, а дальше видно будет...

Но нужна ли такая книга читателю? Юбилей надо заслужить. Говорят, что мужчина, чтобы состояться, должен родить сына, построить дом и посадить дерево. Я не сделал ни первого, ни второго, ни третьего, не совершил никаких подвигов, не сделал замечательных открытий, не создал научной школы, не сидел в тюрьме, никуда не избирался и вообще мало в чем участвовал. В моей жизни мало внешних событий, а свой внутренний мир я предпочитал не

выставлять напоказ, не хранил архивов, не вел дневников и не собирался писать мемуары. О чем же тогда писать?

Автобиография – очень коварный литературный жанр. Его обязательные правила: не лгать, не хвастаться, не жаловаться, не сводить счеты с покойниками (если ты кого-то пережил, это не значит, что за тобой осталось последнее слово), не увлекаться деталями, которые современному читателю непонятны и неинтересны, и не пытаться повлиять на мнение потомков (то, чего ты не смог объяснить при жизни, после смерти заведомо не удастся). А если паче чаяния – большинству мемуаристов это не удастся – ты сумеешь преодолеть все эти соблазны, твой текст утратит обаяние личного документа и тем самым – право на публичное существование. Зачем же было браться за оружие?

Эта книга – не автобиография, а всего лишь рассказ о моей работе. Я всю жизнь работал на стыке разных общественных и гуманитарных наук, часто делая то, чего не смели или не умели другие, и моя работа не оставляла окружающих равнодушными. Я хочу через свой жизненный опыт, средоточием коего была моя научная работа, поведать о прошедшем и давно прошедшем времени, почему я заинтересовался той или иной проблемой и что из этого получилось.

Еще недавно казалось, что советские условия безвозвратно ушли в прошлое и мало кому интересны. Но сейчас наше общество все больше напоминает мне ту страну, в которой я прожил первые шестьдесят лет своей жизни. 99 %-ная явка и такое же единодушное голосование за партию власти в свободной демократической Чечне – это даже лучше, чем в позднесоветские времена. А коль скоро это так, прошлый опыт важен не только будущим историкам, о нем полезно знать и современным молодым людям, даже если они сами этого пока не осознают.

Мой рассказ имеет два среза: событийный – где и с кем я работал, и проблемно-тематический – как развивались мои научные интересы. Но начать придется с соображений общего характера.

Времена и нравы

*...И палачи и узники обычными были людьми:
масса людей доставлялась в лагерь,
масса людей доставляла в лагерь —
одни доставляли других,
но и эти и те были люди.
Многие из тех,
которые были предназначены
играть роль узников,
выросли в том же мире,
что и те, кто попал на роль палачей.
Кто знает,
многие, если бы их не назначила судьба
на роль узников,
могли бы стать палачами.*

Петер Вайс

Любые воспоминания субъективны и пристрастны. Самоотчет – не просто перечень сделанного, но и самооценка, причем ретроспективная, в конце пути. Давно сказано: все хорошее о себе говори сам, плохое о тебе скажут твои друзья. В наши дни всеобщей переоценки ценностей и взаимного агрессивного сведения счетов этот совет особенно соблазнителен. Очень хочется уверить себя и других, что ты всегда был хорошим и праведным, а если некоторые твои сочинения сегодня «не смотрятся», повинны только время и объективные условия. Увы, из песни слова не выкинешь. Мы, мое поколение, были не только жертвами безвременья, но и его соучастниками.

Я начал заниматься наукой очень рано, в совсем юном, по нашим меркам, возрасте. В пятнадцать лет я стал студентом, в девятнадцать – окончил педагогический институт, в двадцать два года имел две кандидатских степени. Однако это не было следствием раннего интеллектуального созревания. Скорее даже наоборот. По складу характера и воспитанию я был типичным первым учеником, который легко схватывает поверхность вещей и быстро движется вперед, не особенно оглядываясь по сторонам. Быть первым учеником всегда плохо, это увеличивает опасность конформизма. Быть отличником в плохой школе – а сталинская школа учебы и жизни была во всех отношениях отвратительна, – опасно вдвойне; для способного и честолюбивого юноши нет ничего страшнее старательного усвоения ложных взглядов и почтения к плохим учителям. Если бы не социальная маргинальность, связанная с еврейской фамилией, закрывавшая путь к политической карьере и способствовавшая развитию изначально скептического склада мышления, из меня вполне мог бы вырасти идеологический погромщик или преуспевающий партийный функционер.

Ведь убедить себя в истинности того, что выгодно и с чем опасно спорить, так легко... Плюс – агрессивное юношеское невежество, которому всегда импонирует сила. Мальчишке, который не читал ни строчки Анны Ахматовой, а с Пастернаком был знаком по одной-единственной стихотворной пародии, было нетрудно поверить докладу Жданова. Рассуждения Лысенко, в силу их примитивности, усваивались гораздо легче, чем сложные генетические теории. Дело было не в частностях, а в самом стиле мышления: все официальное, идущее сверху, было по определению правильно, а если ты этого не понимал – значит, ты неправ. Просматривая сейчас свои статьи 1950-х годов, я поражаюсь их примитивности, грубости и цитатничеству. Но тогда я нисколько не сомневался, что именно так и только так можно и нужно писать.

Значит ли это, что я всему верил или сознательно лгал? Ни то ни другое.

Будучи от природы неглупым мальчиком и видя кругом несовпадение слова и дела, я еще на студенческой скамье начал сомневаться в истинности некоторых догм и положений истории КПСС. Но сомнения мои касались не столько общих принципов, сколько способов их осуществления (религия хороша, да служители культа плохи), и, как правило, не додумывались до конца.

У нас дома никогда не было портретов Сталина, я не верил историям о «врагах народа» и тому, что за все недостатки советской жизни ответственны Иудушка Троцкий и иностранные разведки. Хороший студент-историк, я и без подсказок извне понял, что если бы все эти люди, как нас учили, чуть ли не с дореволюционных времен состояли между собой в сговоре, они могли сразу после смерти Ленина выкинуть из ЦК крошечную кучку «праведников», не дожидаясь, пока те окажутся в большинстве и разобьют их поодиночке. Но сочинений их я, разумеется, не читал (в аспирантские годы прочитал одну книгу Бухарина, до Троцкого так и не добрался) и никаких сомнений в теоретической гениальности вождя народов у меня не возникало. А если и возникали, то профессора их легко рассеивали.

Помню, на младших курсах я засомневался в реальности растянувшейся на несколько веков «революции рабов», которую Сталин «открыл» в речи на съезде колхозников-ударников, начинавшейся, если мне не изменяет память, примерно такими словами: «Я не собирался выступать, но Лазарь Моисеевич (Каганович. – И. К.) говорит, что надо, поэтому скажу...» Однако уважаемый профессор-античник лет на десять убедил меня, что, принимая во внимание динамику темпов исторического развития, пятисотлетняя революция вполне возможна. Верил ли он этому или говорил по долгу службы, я никогда не узнаю. Позже я и сам нередко «пудрил мозги» своим студентам, если они задавали «неудобные» вопросы...

Еще на студенческой скамье занявшись научной работой, я сначала инстинктивно, а потом сознательно избегал откровенно конъюнктурных тем, предпочитая такие сюжеты, в которых идеологический контроль был слабее (этим отчасти объясняется и смена моих научных интересов). Но это не всегда можно было вычислить заранее. К тому же меня интересовали преимущественно теоретические вопросы, а философские статьи без ссылок на партийные документы были просто немыслимы. В философских работах 1940—50-х годов цитаты из классиков марксизма-ленинизма порой составляли половину объема, их общеизвестность никого не смущала, а самостоятельность, напротив, вызывала подозрения и пренебрежительно называлась «отсебятиной».

Став старше, я научился сводить обязательные ритуальные приседания к минимуму, цитируя только те высказывания, с которыми был внутренне согласен, и предпочитая ссылки на безличные официальные документы «персональному» прославлению вождей. Но наука эта была долгой, а внешняя косметическая чистоплотность отнюдь не избавляла от интеллектуальных и нравственных компромиссов. Вначале они не были даже компромиссами, потому что самоцензура действовала автоматически и была эффективнее цензуры внешней.

Впрочем, и внешнюю цензуру нельзя недооценивать. Она была всеобъемлющей и проявлялась даже в мелочах. Например, в первоначальном варианте моя книга «Дружба» (1980) открывалась эпиграфом из Шопенгауэра: «Истинная дружба – одна из тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, являются ли они вымышленными или где-то существуют». Издательство ничего не имело ни против данной мысли, ни против цитирования Шопенгауэра. Но открывать книгу словами «реакционного буржуазного философа» Политиздат считал неудобным. Пришлось эту цитату перенести в текст и искать другой эпиграф. В работу включилась редактор книги Марина Александровна Лебедева, с которой мы много лет плодотворно сотрудничали.

И вот получаю от нее письмо: «И. С., я нашла подходящую цитату из Маркса. Мысль та же, что у Шопенгауэра, и никто не придерется». Дальше следовал такой текст: «...*Истинный брак, истинная дружба нерушимы, но... никакой брак, никакая дружба не соответствуют*

полностью своему понятию». Цитата мне понравилась, но смутило, почему в ней два отточия. Открыл том Маркса и прочитал следующее: «*Истинное государство, истинный брак, истинная дружба нерушимы, но никакое государство, никакой брак, никакая дружба не соответствуют полностью своему понятию*».

Отвечаю Лебедевой: эпиграф подходит, но, давайте, восстановим его полный текст, государство это как-нибудь переживет! Но разве можно было даже намеком предположить, что советское государство не полностью «соответствует своему понятию»?! Подлинный текст Маркса был восстановлен только в третьем издании книги. Я мог бы привести сотни подобных примеров. Поэтому не судите нас строже, чем мы того заслуживаем.

Идеологическая лояльность в сталинские и первые послесталинские времена обеспечивалась двояко.

Во-первых, почти в каждом из нас жил внушенный с раннего детства страх. Из моих близких никто не был репрессирован, но я на всю жизнь запомнил, как в 1937 г. у нас в комнате, на стенке, карандашом, незаметно, на всякий случай, были написаны телефоны знакомых, которым я должен был позвонить, если мою маму, беспартийную медсестру, вдруг арестуют. В 1948 г., будучи аспирантом, я видел и слышал, как в Герценовском институте поносили последними словами и выгоняли с работы вчера еще всеми уважаемых профессоров «вейсманистов-морганистов»; один из них, живший в институтском дворе, чтобы избежать встреч с бывшими студентами и коллегами, вместо калитки проходил через дыру в заборе. В 1949 г. подошла очередь «безродных космополитов» и «ленинградского дела». В 1953 г. было дело «врачей-убийц» и так далее.

От такого опыта трудно оправиться. Когда бьют тебя самого, возникает, по крайней мере, психологическое противодействие. А когда у тебя на глазах избивают других, чувствуешь прежде всего собственную незащищенность, страх, что это может случиться и с тобой. Чтобы отгородиться от этого страха, человек заставляет себя верить, что, может быть, «эти люди» все-таки в чем-то виноваты, а ты не такой, и с тобой этого не произойдет. Но полностью убедить себя не удастся, поэтому ты чувствуешь себя подлым трусом. А вместе с чувством личного бессилия рождается и укореняется социальная безответственность. Тысячи людей монотонно повторяют: «Ну что я могу один?»

Второй защитный механизм – описанное Джорджем Оруэллом двоемыслие, когда человек может иметь по одному и тому же вопросу два противоположных, но одинаково искренних мнения. Двоемыслие – предельный случай отчуждения личности, разорванности ее официальной и частной жизни. В какой-то степени оно было необходимым условием выживания. Тот, кто жил в мире официальных лозунгов и формул, был обречен на конфликт с системой. Рано или поздно он должен был столкнуться с тем, что реальная жизнь протекает вовсе не по законам социалистического равенства и что мало кто принимает их всерьез. А тот, кто понимал, что сами эти принципы ложны, был обречен на молчание или сознательное лицемерие. Последовательных циников на свете не так уж много, и они редко бывают счастливы. Большинство людей бессознательно принимают в таких случаях стратегию двоемыслия, их подлинное «Я» открывается даже им самим только в критических, конфликтных ситуациях.

До XX съезда партии, открывшего процесс десталинизации страны (1956), эти вопросы меня мало заботили, мне даже в голову не приходило, что не обязательно сверять свои мысли с ответом в конце задачника, – отличники учебы любят готовые ответы. А когда я постепенно поумнел, то научился выражать наиболее важные и крамольные мысли между строк, эзоповым языком, не вступая в прямую конфронтацию с системой. Читатели 1960—70-х годов этот язык отлично понимали, его расшифровка даже доставляла всем нам некоторое эстетическое удовольствие, и возникало чувство «посвященности», принадлежности к особому кругу. Но при этом мысль неизбежно деформировалась. Мало того, что ее можно было истолковывать по-разному. Если долго живешь по формуле «два пишем, три в уме», в конце концов сам забы-

ваешь, что у тебя в уме, и уже не можешь ответить на прямой вопрос не из страха, а от незнания. Поэтому такой психологически трудной оказалась для многих из нас желанная гласность. Людям, выросшим в атмосфере двоемыслия и «новояза», тяжело переходить на нормальную человеческую речь.

Я не говорю уже о неизбежных нравственных деформациях. Психологически все человеческие качества, будь то ум, честность или смелость, относительны, но в моральном смысле быть «не совсем честным» – то же самое, что «немножечко беременным». И когда ты это осознаешь – уважать себя становится невозможно.

И все-таки не торопитесь с приговором. В тоталитарном обществе юноша утрачивает интеллектуальную и нравственную невинность гораздо раньше, чем становится способным к самостоятельному выбору. Коллективизм-конформизм и крайне идеологизированное воспитание развращали нас с детства, официальные нормы и стиль поведения воспринимались как нечто естественное, единственно возможное, а интеллектуальные сомнения и нравственная рефлексия приходили, если вообще приходили, много времени спустя. А перевоспитание и самоперевоспитание – процесс значительно более сложный, чем первичная социализация. Ведь нужно преодолеть не только страх и внешнее давление, но и инерцию собственного отрицательного опыта.

Выдавить из себя раба по капле, как это рекомендовал Чехов, практически невозможно: рабская кровь самовосстанавливается быстрее, чем выдавливается.

Тут нужно гораздо более радикальное обновление. Действительно свободными становились только те, кто полностью, хотя бы внутренне, порывал с системой, начиная жить по другой школе ценностей, – открытые диссиденты, правозащитники и те интеллектуалы, которые сознательно писали «в стол». Но таких людей было очень мало. Для этого требовались не только смелость, но также определенный тип личности и наличие соответствующей среды.

Тем более что «раб в душе советского человека не сконцентрирован в какой-то одной ее области, а, скорее, окрашивает все происходящее на ее мглистых просторах в цвета вялотекущего психического перитонита, отчего не существует никакой возможности выдавить этого раба по каплям, не повредив ценных душевных свойств»¹.

Разные поколения объективно обладают неодинаковым потенциалом инакомыслия. Чем дальше заходило внутреннее разложение тоталитарной власти и идеологии, тем легче было осознать их убожество и найти в этом единомышленников. Сдержанный скепсис родителей перерастал у детей в полное отвержение системы. Мое поколение подвергалось значительно меньшему социальному и духовному давлению, чем люди тридцатых годов, студентам 1960-х уже трудно было понять некоторые ситуации десятилетней давности, а молодежи 1990-х казалась странной трусость или беспринципность, называйте, как хотите, 1970-х. Нет, я никого и ничего не оправдываю, во всех поколениях были разные люди, но вне исторического контекста понять их нельзя.

Со стороны и постфактум многое видится иначе, чем изнутри. Однажды в 1950-х годах в одной интеллигентской компании я упомянул недавно вернувшегося из тюрьмы всем известного и весьма приятного историка, с которым я был знаком до его посадки. «А вы знаете, что он не только историк, но и биограф?» – «Что значит – биограф?» – «Это человек, на основании показаний которого арестовывали других людей, так что будьте с ним поаккуратнее». Я огорчился, потому что этот человек мне нравился и сидел абсолютно ни за что. Но когда я рассказал этот случай старому коммунисту Моисею Исаевичу Мишину, просидевшему больше двадцати лет и сохранившему не только верность своим идеалам, но и ясность ума и безукоризненную порядочность, он сказал: «Лучше воздержитесь от оценок. Вы не были в подобной ситуации, не знаете, как там было страшно, как ломались даже очень сильные люди. Неизвестно, как вы

¹ Пелевин В. Generation P. М.: Вагриус, 1999. С. 52–53.

сами повели бы себя. Может быть, Н. был действительно доносчиком, а может быть, его просто обманули или запугали? Не зная всех обстоятельств, лучше избегать оценок». Я вспомнил, сколько в моей недолгой и отнюдь не экстремальной жизни уже было беспринципных компромиссов, и согласился с этим суждением. Тем более что в советское время практически каждого подозревали в том, что он стукач. Отчасти спонтанно, а отчасти потому, что это помогало КГБ разобщать людей.

Еще труднее интерпретировать старые тексты. Когда-то в молодости, поддавшись обаянию предисловия знаменитого арабиста И. Ю. Крачковского, я купил сочинение средневекового арабского мыслителя, которого академик назвал ярким и свободомыслящим. Стал читать – и почти в каждом абзаце спотыкался об упоминания Аллаха, проклятия по адресу неверных и т. п. Поделился своим разочарованием с А. Д. Люблинской, дескать, Крачковский все приукрасил. А она сказала: «Вероятно, Крачковский все-таки прав. Вы ведь других авторов этого периода не читали. В то время без ссылок на Аллаха не обходился никто, а у него это просто формальные слова, и ценили его не за них».

Конечно, 1950-е годы – не Средневековье, но и там были свои условности и правила игры. Идеологические ярлыки, которые сегодня нас отталкивают, в свое время были общим местом, на них не обращали внимания, потому что видели за текстом подтекст, который у разных авторов был совсем не одинаковым.

Часть первая

Люди и обстоятельства

Детство и юность

*Все человеческие судьбы слагаются случайно, в зависимости от
судеб, их окружающих.*

Иван Бунин

Я родился в Ленинграде 21 мая 1928 года. Несмотря на всяческие трудности, мое детство всегда казалось мне счастливым.

Я был внебрачным ребенком, отец, врач-рентгенолог, иногда заходил к нам в гости (что он мой отец, я узнал лишь в восемь лет) и оказывал некоторую материальную помощь, которая была особенно ценной в годы войны, но душевной близости с ним у меня не было. Это был просто знакомый мужчина, ничем не лучше и не хуже других взрослых. Мама не настраивала меня против него (вполне возможно, что у них был просто курортный роман, а аборт мама делать не хотела). В раннем детстве отца мне, вероятно, недоставало. Летом на концертных площадках я не раз, будучи смышленным и общительным, приводил к маме понравившегося мужчину в качестве кандидата в папы, понятия не имея, что это значит. Но ко времени знакомства с реальным отцом эта потребность уже прошла, а найти ко мне подход он не мог, да и вряд ли это вообще было возможно.

После войны, когда я был уже студентом, отцу, возможно, хотелось со мной сблизиться (у них с женой детей не было), но для этого не было никаких условий. Отец работал в военном госпитале и иногда отдавал мне скопившийся у него хлеб (время было голодное), для этого я должен был приезжать к госпиталю и встречаться с ним украдкой за углом. Хлеб был абсолютно законный, но я был точной копией отца, и он не хотел, чтобы его коллеги видели нас вместе. Я это прекрасно понимал, но все равно это было оскорбительно.

Однажды из-за нашего сходства отец даже попал в смешное положение. Он лег на операцию в Военно-медицинскую академию, где профессором был отец моего довоенного одноклассника В. Г. Вайнштейн. Владимир Григорьевич хорошо знал мою маму, но понятия не имел, кто мой отец, однако не увидеть сходства было невозможно, и во время обхода он сказал отцу: «Я знаю вашего сына, замечательный мальчик!» Отцу пришлось молча покраснеть. Как только мне исполнилось восемнадцать, отец перестал материально помогать, наши встречи прекратились, а в 1949 г. в Кишиневе его убили бандеровцы... Я не называю здесь его фамилию не потому, что питаю к нему враждебные чувства (насколько я знаю, это был вполне достойный человек) или чего-то стесняюсь. Просто в моих документах его фамилии никогда не было, а я привык к точности в анкетах.

Зато мама посвятила мне всю жизнь и всемерно помогала моему развитию. В сущности, я выжил случайно. Я родился почти нежизнеспособным семимесячным недоноском. К тому же в родильном доме меня не перепеленывали, а на кормление приносили в упакованном виде. Когда дома мама меня впервые распеленала, она пришла в ужас: у ребенка практически не было кожи, даже мыть его обычной водой было нельзя. Когда она пришла за справкой о продлении больничного листа, молодой врач сказал: «Мамаша, разве вы не видите, что ваш мальчик не жилец? Пожалуйста, я продлю вам бюллетень не на неделю, как положено, а сразу на месяц, все равно ребенок умрет через три дня». Однако мама меня выходила.

В детстве я много и серьезно болел. В годовалом возрасте вдруг стала трястись голова, мама не могла понять, в чем дело, а когда однажды неожиданно раньше времени вернулась домой, обнаружила, что молодая нянька меня била, уткнув головой в подушку, чтобы не плакал. Потом на моих глазах грузовик сбил газетный киоск, в котором сидел знакомый инвалид. Это вызвало у меня страх улицы, потребовалось вмешательство крупнейшего детского невропатолога. Когда мама пыталась вызвать его домой, он отказался, а когда она меня привезла, сказал: «Как можно было ребенка в таком состоянии везти в трамвае?!» – «Я же вам объясняла...» – «Ну, я подумал, что матери всегда преувеличивают». Потом это все прошло.

В шестилетнем возрасте я перенес энцефалит. Определили его только ретроспективно, когда я стал приволакивать ногу и обнаружилась плохая координация движений, из-за которой меня освобождали от уроков физкультуры. Это всех устраивало. Я не любил предмета, в котором заведомо не мог быть первым, мама дрожала за мое здоровье, а учителя не хотели лишних неприятностей (я как-то неловко и опасно падал). Став взрослым, я понял, что это была ошибка, последствия энцефалита вполне можно было «разработать», но чего не сделали, того не сделали. То ли до, то ли после моей многодневной спячки начались тяжелые носовые кровотечения, природа которых так и осталось непонятной (они периодически продолжались лет до двадцати пяти, последний раз я едва не умер одновременно со Сталиным, «неотложка» никак не могла остановить кровь). Однажды мама вызвала на дом знаменитого профессора, а меня строго предупредила, чтобы не проболтался, что она медсестра: если профессор об этом узнает, он не сможет взять деньги (неписаная врачебная этика), а без денег он бы не поехал, да и просить неудобно. А деньги, по ее зарплате, были немалые...

Во время этой длительной болезни, чтобы мне было не так одиноко, она купила белого крысенка и пустила его прямо ко мне в постель. С Витькой мы долго жили вместе. Это был замечательно умный и чистоплотный зверь. Трудно было только научить его не грызть чулки и обувь и позволять чистить его гнездо (он жил в небольшом аквариуме), где он хранил свои продовольственные запасы. Больше всего он любил сыр. Когда приходили гости и садились за стол, он доставал оттуда самую черствую хлебную корку, садился на задние лапки и демонстративно начинал ее грызть, после чего не угостить его чем-то вкусным было невозможно. Однажды мама неплотно закрыла дверь и, вернувшись в комнату, застала жуткую сцену: на краешке своего аквариума сидит и умывается Витька, а перед ним сидят и смотрят три очумелые от удивления кошки, никогда не видевшие такого бесстрашного зверя! Когда ко мне приходили ребята и мы выстраивали армии оловянных солдатиков, Витька смахивал их одним движением хвоста или норовил украсть картонную пушку, а если его запирали в аквариум, серьезно обижался...

Несмотря на мамину более чем скромную зарплату, я ни в чем не уступал одноклассникам. У меня были дорогие книги; лучше всего помню «Маугли», «Цари морей» (о походах викингов) и «В царстве черных» (о путешествии в Африку), настоящий микроскоп и огромный набор «Химик-любитель», с помощью которого мы с ребятами однажды устроили дома что-то вроде пожара.

Чтобы избежать возможных опасных последствий детского самоуправства, мама применяла нечто вроде дисциплины естественных последствий. Когда я стал все подряд нюхать, мне был предложен нашатырный спирт. Потом меня привлекли горячие угольки в печке. Мама приготовила перевязочный материал, подгрела маленький уголек и не помешала мне его схватить. Ребенок был настолько мал, что не смог разжать кулак с редкой драгоценностью, поэтому ожог оказался сильнее, чем предполагалось, зато потом я ходил вокруг печки восхищенно-опасливо, ничего из нее не хватая. Мамина подруга, у которой был мальчик того же возраста, что и я, упрекала маму в неоправданной жестокости. Но когда ее сынишка, которого тоже привлекало все блестящее, на минуту оставшись без присмотра, буквально сел на кипящий чайник и сжег себе мошонку, она признала, что мамин подход был лучше.

Я был тугодумом. Года в три мне подарили красивую красную рубашку, и я сказал: «Я буду мальчик-красавчик!» Мама ответила: «Лучше будь умным». Через несколько часов, когда мама уже забыла об этом разговоре, я вдруг сказал: «Мама, но ведь этого же не видно...» (выяснилось, что подразумевался ум). В другой раз, в песочнице, когда какой-то мальчишка меня ударил, я заревел и пожаловался маме. Мама сказала: «Так дай ему сдачи!» Через два часа, когда о ссоре все забыли и мой обидчик спокойно что-то строил, я молча подошел и стукнул его. «Что ты делаешь?!» – «Я дал ему сдачи!»

Жили мы в огромной коммунальной квартире – одиннадцать съемщиков, с одним-единственным туалетом, он же – ванная. Несмотря на неизбежные ссоры, в целом отношения между жильцами были хорошими. Примусы у каждого были свои, а отдельных штепселей вроде бы не было.

Мама работала, а я был слишком мал, чтобы самостоятельно зажигать примус или керосинку, поэтому вечерами соседи разогревали мне ужин и давали кипяток для чая. Кстати, одним из соседей был Адриан Иванович Пиотровский (1898–1938), в то время – директор Ленфильма и, как я узнал много лет спустя, выдающийся переводчик, филолог, драматург, литературовед, театровед и киновед. Он и его жена Алиса Акимовна очень хорошо ко мне относились. Однажды, когда я попросил у нее кипятку, она сказала: «Зачем? Приходи к нам пить чай!» Я пришел с собственной чашкой и заваркой. «Зачем? У нас есть чай». – «Чтобы не одалживаться». Мама потом объяснила мне, что из всех правил бывают исключения, но просить и одалживаться я до сих пор не люблю. Потом Пиотровские получили отдельную квартиру в новом ленфильмовском доме, а в 1937 году Адриана Ивановича арестовали и вскоре расстреляли...

В детском саду и в школе у меня все было хорошо. Учеба по всем предметам, кроме чистописания, а позже – черчения, давалась легко, но с раннего детства я больше всего любил историю. Отношения с одноклассниками были отличными, детские дружбы восстановились даже после войны. Драться я не любил, но если нападали – приходил в ярость, так что драчуны предпочитали не приставать. Школа – бывший послепушкинский лицей – казалась огромной и очень красивой. Я был очень правильным и законопослушным мальчиком. Найдя в скверике напротив дома, где я обычно гулял, потерянную кем-то непочатую плитку шоколада, сдал ее в находившееся рядом отделение милиции, милиционеры ее взяли и обещали найти хозяина. Дома надо мной долго смеялись.

Беззаботное детство было разрушено войной. Осенью 1941 года маму как медсестру послали сопровождать эшелон эвакуированных в Чувашию. По дороге наш эшелон обстреливали, но мне это не казалось страшным, наоборот, запомнились разноцветные трассирующие пули – красиво. Мы собирались через месяц вернуться, даже не взяли с собой теплых вещей, а застряли в Мариинском Посаде на три года. Было холодно и голодно. По карточкам выдавали только хлеб, ведро картофельных очистков стоило на рынке сорок рублей. Когда кто-то из ребят приходил в школу, наевшись чеснока, в памяти возникал запах колбасы, а описание колбасной лавки в «Чреве Парижа» вызывало настолько сильные желудочные переживания, что я не смог дочитать роман Золя. Многие местные жители эвакуированных не любили, считая, что это из-за них все дорожает. А поскольку среди эвакуированных было много евреев, бытовая неприязнь оборачивалась антисемитизмом.

В городе стояла непролазная грязь, идти до школы было неблизко, а на ногах – дырявые ботинки на деревянной подошве. Сначала я старался идти осторожно, чтобы не промочить ноги, но грязная холодная жижа понемногу все-таки проникала внутрь. Это было очень противно, и я стал делать иначе: прямо у дома становился обеими ногами в лужу, после чего терять было уже нечего и можно было идти быстро, не глядя под ноги. Думаю, я нашел правильный способ. Организм знал, что болеть нельзя, и держался. Тем не менее летом я подцепил какую-

то непонятную болезнь крови: от укусов заволжских мух на ногах возникли трофические язвы, почти до кости, их следы сохранялись лет тридцать, если не больше.

Но в детстве все переживается легко. В победе над немцами, хотя они были практически рядом, мы не сомневались ни секунды, работали в колхозе, собирали металлолом и т. д. С последней темой связаны мое первое напечатанное стихотворение, первый литературный гонорар (три рубля) и первый конфликт с редактором. Стихи начинались так:

Цветные металлы нужны для страны,
На танки, на пушки, на пули.
Весь лом металлический сдать мы должны,
А всюду ли мы заглянули?

Когда районная газета вышла, я с ужасом обнаружил, что «пули» заменили на «снаряды». Пошел выяснять отношения с редактором, объяснил ему, что «пули» и «заглянули» рифмуются, а «снаряды» – нет. Кроме того – размер. Но редактор меня не понял, сказал, что пули никуда заглядывать не могут, а для снарядов металла нужно больше.

Чтобы получить бесплатное жилье, мама ушла из больницы и устроилась работать комендантом учебного корпуса Чувашского госпединститута. Это открыло передо мной двери богатой институтской библиотеки. Никогда в жизни я не читал так много и продуктивно, как в шестом-седьмом классах. Интересным было и неформальное общение с институтскими преподавателями. В седьмом классе я каким-то образом подсчитал, что, даже ничего больше не делая, человек за всю жизнь не сможет прочесть больше десяти-двенадцати тысяч книг, и очень расстроился. Слепой доцент-историк Георгий Иванович Чавка объяснил мне, что все не так страшно, многие книги можно читать не подряд, а выборочно, а так как школьную программу я явно перерос, подсказал идею сдать экзамены за старшие классы экстерном, что я и сделал, став в пятнадцать лет студентом истфака. Кроме обязательных предметов, я параллельно занимался тремя иностранными языками, составлял собственные четырехязычные словари и т. д. В дальнейшем все это пригодилось.

Осенью 1944 г. мы вернулись в Ленинград, где я продолжил образование на истфаке Ленинградского пединститута им. А. И. Герцена. Назвать это жизнью можно лишь условно. Наша двадцатиметровая комната была незаконно заселена, на взятку чиновникам у мамы не было ни денег, ни умения. Кроме того, мы вернулись самочинно, без официального вызова Ленсовета, так что, несмотря на ленинградский паспорт, не могли восстановить прописку. Чтобы как-то существовать, мама устроилась работать в больницу в Токсово, под Ленинградом, а меня не могли поселить даже в институтском общежитии. Бездомная жизнь без продовольственных карточек, с ночевками у разных знакомых, откуда меня иногда выгоняла на улицу милиция (в отделение ночевать не пускали), была страшной. Произошло даже что-то вроде рецидива энцефалита (я несколько дней подряд спал). На письма в официальные инстанции приходили стандартные отказы. Они были не лишены комизма. Выстояв несколько дней в очереди в управление милиции, ты получал письменный отказ и предписание покинуть город в двадцать четыре часа, но следующий раз с этой грозной бумагой ты имел право пройти без очереди. Впрочем, смеющихся людей я в этих очередях не видел. Бросать учебу и ехать работать на лесозаготовки (единственное, что предлагалось) я категорически не хотел.

Помогли стихи. Ничего оригинального в моих виршах не было, но в очередное послание А. А. Жданову я вложил следующие стихи:

Без прописки и без хлеба
И без всякого жилья
Под открытым сводом неба

Проживаю нынче я.

Не ломал замков в квартирах
И людей не убивал,
Не бывал и в дезертирах,
А в преступники попал.

От милиции скрываюсь,
Перед дворником дрожу,
Я по лестницам скитаюсь,
В разных садиках сижу.

Газированной водою
Запиваю грусть свою
И с напрасною мечтою
На приемах я стою.

Всей душой хочу учиться,
А учиться не дают.
Где, к кому мне обратиться,
Как найти себе приют?

Стихи тронули какую-то обкомовскую секретаршу, письмо «мальчика-поэта» переслали по инстанциям, в результате Горбюро по распределению рабочей силы выдало мне необходимое направление на учебу, а райжилотдел предоставил нам с мамой девятиметровую комнату в коммунальной квартире на улице Рубинштейна, 18, рядом с Малым драматическим театром, во втором дворе-колодце. Там мы прожили до 1956 г., в этих условиях я написал обе свои кандидатские диссертации.

Я спал на диване, а мама – на раскладушке. Уединиться было негде, зато когда в комнатушку набивалось по четверо-пятеро друзей, оторваться от компании никто не мог. Улучшить жилищные условия удалось только в 1957 году, когда мы получили две смежные комнаты (та, в которой я спал и работал, была 6 метров в длину и 1,8 метра в ширину, а мамина, проходная, – на 40 сантиметров шире) в коммунальной квартире (Лиговка, 58) с невыносимо скандальными соседями.

Рассказывать об этой жизни не хочется. Отдельную двухкомнатную квартиру, 30 квадратных метров на улице Типанова, 5, мы получили лишь в 1961 году, когда мне было тридцать три года и я уже три года был доктором наук. Когда позже я писал, что самым страшным фактором советской сексуальности было отсутствие места, я знал это не понаслышке.

Герценовский институт в 1944 г. был довольно неприглядным местом. В неотопливаемых все годы войны аудиториях стоял собачий холод, студенты сидели в пальто и валенках, чернила замерзали, профессора читали лекции в пальто. Тем не менее было весело. Между прочим, после каждого институтского вечера в знаменитом белоколонном актовом зале уборщицы выметали на хорах кучи использованных презервативов (это – к вопросу о нравственности).

Как и раньше, я был круглым отличником, занимался в основном самостоятельно, много читал. Хотя, в отличие от Марпосада, в Ленинграде по карточкам давали не только хлеб, но и другие продукты, жизнь была голодная. Отличникам давали дополнительные талоны на обед, так называемое усиленное диетическое питание (УДП). Студенты расшифровывали эту аббре-

виатуру: «Умрешь днем позже». После того как я получил Сталинскую стипендию (780 рублей, это были большие деньги, решение утверждал Совмин РСФСР), жить стало легче.

Впрочем, бедность тогда не была такой тяжелой проблемой, как позже, потому что почти все были бедны. Конечно, когда ты влюблен, а твои единственные парусиновые туфли протрадились и дырку приходится замазывать чернилами, это невесело. Но в те годы даже самые кокетливые парни могли ходить на институтские вечера в лыжном костюме, и это нисколько не мешало успеху у девушек. У меня даже выработались некоторые принципы, сохранившиеся на всю жизнь.

Летом 1946 г. я отдыхал в доме отдыха «Подгорное», между Ленинградом и Москвой. Смена состояла из студентов и старшеклассников, практически моих ровесников. Среди них был десятиклассник по имени Лева, во всех отношениях милый и приятный мальчик, на котором был уникальный по тем временам, красивый, явно сшитый на заказ, костюм. Лева никто по этому поводу не завидовал, но поскольку эта примета была самой яркой, за глаза его все называли «костюмный Лева». Я задумался и решил, что вот этого я не хочу. Я готов соперничать с другими ребятами, но не с собственными вещами. Вещи не должны быть ярче хозяина. Позже, когда у меня появились деньги, я избегал слишком дорогих вещей. Красивый сервис – это прекрасно, но если разбитая чашка становится драмой, лучше иметь посуду попроще. И зачем нужна полированная мебель, если из-за нее ваши дети не смеют пригласить в дом своих друзей? Такая установка сохранилась у меня по сей день. Впрочем, это можно объяснить и иначе. Может быть, я просто лодырь и неряха, которому лень заботиться о своих вещах, а глубокая философия на мелком месте дает этому благовидное обоснование. Уверен, что так оно и есть. Тем не менее «костюмного Леву» и свои размышления на его счет я помню совершенно отчетливо.

Еще одна психологическая особенность – сколько себя помню, никогда не стремился быть оригинальным. Когда занялся наукой, это стало сознательным принципом. Главное – сделать дело хорошо, на пределе своих возможностей, а окажется ли твой труд оригинальным (для кого и по каким критериям?) – от тебя не зависит. Эйнштейна однажды спросили, как он записывает новые мысли. Он ответил, что не выработал такого метода: единственный раз, когда ему пришла новая мысль, он записал ее в виде теории относительности, а с тех ничего нового в голову не приходило. По этому критерию, мы все должны замолчать, и это было бы неправильно.

Все мои однокурсники были значительно старше меня, многие вернулись из армии, так что интимной дружбы с ними, в которой нуждается юность, быть не могло. Но во время педпрактики, а затем – благодаря комсомольской работе я восстановил контакты с ровесниками и нашел близких друзей, отношения с которыми сохранились до конца жизни. Первая серьезная любовь возникла во время педпрактики в 216-й женской школе. Похоже, что я сам узнал о своей влюбленности последним, все девочки в 10-м классе и их приятели из 206-й мужской школы заметили это раньше. Это был серьезный удар по самолюбию. Не зная, что с мальчиками так бывает часто, я расстроился и решил впредь стать непрозрачным, в дальнейшем о моих чувствах, как правило, знали только те, кого я в них посвящал. Впрочем, став взрослым, я понял, что это была очередная глупость: нужно было учиться не скрывать свои чувства, а просто не обращать внимания на окружающих.

Институтские преподаватели казались мне хорошими. Слушать и, тем более, записывать лекции я не умел и не любил, предпочитая одалживать конспекты у девочек, зато разговаривать с преподавателями было интересно. Курс новой истории живо и занимательно читал Владимир Карпович Добрер. Всеобщий любимец, профессор университета С. Б. Окунь красочно показывал в лицах, как заговорщики душили Павла I.

Преподавал у нас и многолетний легендарный декан истфака ЛГУ Владимир Васильевич Мавродин. Хотя на нашем курсе он не читал, я часто разговаривал с ним. Однажды он

поразил меня утверждением, что среди ученых процент дураков значительно выше среднего. «Почему?» – спросил я. «Потому что природная ограниченность интеллекта усугубляется узостью научной специализации». В другой раз, когда речь зашла о какой-то несправедливости, Мавродин сказал: «Знаете, Игорь, в науку люди идут разными путями. Одни пробивают себе дорогу головой, у других она слабая, но природа компенсировала это крепкими локтями. Как показывает опыт, этот путь даже более эффективный, хоть и не самый приятный для окружающих». Запомнились и слова академика В. В. Струве, сказанные по поводу «дискуссии» вокруг работы Сталина «Марксизм и вопросы языкознания»: «Дерзай, но не дерзи!» Много дало личное общение с заведующим кафедрой истории СССР Виктором Николаевичем Бернадским, у которого я бывал дома. Это был очень образованный, глубокий и тонкий человек.

Как ни странно, существенное влияние на меня оказали некоторые непрофильные, заведомо «ненужные» курсы, например педагогика. Я не собирался работать в школе и к педагогике относился скептически (среди студентов было популярно ироническое высказывание профессора Десницкого: «педагогика **как** наука»), но лекции Леонида Евгеньевича Раскина прослушал целиком, они были захватывающе умны и интересны. Когда в аспирантские годы мне пришлось проводить в школах диспуты о смысле жизни, дружбе и любви, я обратился за советом именно к нему. Кстати, даже нескромные молодые люди, а я был именно таким, подчас недооценивают интерес, который к ним питают старшие. Узнав домашний телефон Раскина, я позвонил ему и сказал: «Это говорит ваш бывший студент с истфака». – «А кто именно?» – «Да вы меня не помните». – «Ну, а все-таки?» – «Кон». – «Как же, Игорь, я вас прекрасно помню». Я был страшно польщен, а когда повзрослел, понял, что это было вполне естественно: я был самым младшим на курсе, к тому же сталинским стипендиатом, как же было профессорам меня не помнить?

Большинство исторических курсов давали добротные факты, но думать не учили. А вот совершенно ненужный мне курс методики преподавания истории, который читала Наталья Владимировна Андреевская, делал именно это. Формально она преподавала методику: как рассказать детям о конкретном историческом событии, например о 18-м брюмера. На самом же деле это был глубокий анализ исторического факта, выяснение скрытых возможностей исторического события, которое могло бы произойти и иначе. Когда я стал заниматься философией и методологией истории, мне это очень пригодилось. Не исключено, что даже интерес к понятию факта возник из этой лекции, я ведь не писал, а думал.

Очень плодотворным было общение с заведующим кафедрой философии доцентом Сергеем Степановичем Киселевым. До его лекций я вообще не подозревал о существовании философии, думал, что это одно из преодоленных марксизмом буржуазных заблуждений. Оказалось – нет. Неформальные беседы с Киселевым были для меня уроками мудрости. Подведя свои личные итоги по окончании института, я поделился с ним, что вот, дескать, вроде бы хорошо учился, а все равно ничего не знаю. «Так и должно быть, – сказал С. С. – Единственное, что дает вуз, – умение самостоятельно черпать знания. А девятнадцать лет – вообще петушинный возраст, все только начинается».

Забавные воспоминания сохранились о курсе политэкономии. Политэкономия капитализма мы изучали всерьез, по «Капиталу», но когда пришла очередь социализма, стало ясно, что никакой науки там и в помине нет. Свой психологический шок от знакомства с политэкономией социализма хорошо описывает в своих воспоминаниях моя ровесница Т. И. Заславская². Но для меня и моих приятелей (об остальных судить не могу) этот предмет не был профилирующим, «совершенствовать» его мы не собирались и просто повторяли на экзаменах выученный вздор, не придавая ему ни малейшего значения.

² См.: Заславская Т. И. Моя жизнь: воспоминания и размышления // Заславская Т. И. Избр. произведения. Т. 3. М.: Экономика, 2007.

Так же было и с историей партии. Как говорил (о богословии) гетевский Мефистофель («Фауста») я читал и многое знал наизусть еще до поступления в институт),

Наука эта – лес дремучий,
Не видно ничего вблизи.
Исход единственный и лучший:
Профессору смотрите в рот
И повторяйте, что он врет.
Спасительная голословность
Избавит вас от всех невзгод,
Поможет обойти неровность
И в храм бесспорности введет.

Никаких теоретических споров и последующих идеологических разборок с однокурсниками, подобных тем, о которых рассказывает Заславская, у нас не было. Не столько потому, что для историков этот предмет был второстепенным, или потому, что мои однокурсники были старше и циничнее юной Тани Карповой, сколько потому, что интеллектуальный уровень герценовских студентов 1946/47 годов был значительно ниже, чем студентов МГУ 1948–1950 годов. Это делало нашу жизнь более безопасной, но менее интеллектуально напряженной.

Впрочем, несерьезность экономической теории социализма понимали и преподаватели. На консультации перед экзаменом неглупый майор из какой-то военной академии сказал нам: «Ребята, вы сдаете политэкономия социализма. Обычно студенты по любому вопросу сначала рассказывают, как обстоит дело при капитализме, а потом говорят: “А при социализме все наоборот!” Так вот, для экономии времени, про капитализм вы расскажите молча, про себя, а мне сразу же говорите “наоборот”». Действительно, про социализм было известно только, что здесь все не так: товар – не товар, деньги – не деньги, закон стоимости не действует или действует как-то иначе. И самое интересное, хотя мы об этом не задумывались, это была чистейшая правда, в СССР на самом деле все было «не так». Иногда мы развлекались, задавая преподавателю заведомо глупые провокационные вопросы, например: почему на улицах много нищих?

Видимость научной строгости в гуманитарных предметах создавалась исключительно жесткими формальными определениями и классификациями, без которых все рассыпалось. Многие формулы были священными. До XIX съезда партии «основщики» (преподаватели основ марксизма) задавали, например, такой вопрос: «Как стоит Советская власть?» Единственно правильным ответом было: «Как утес» (так сказал на каком-то съезде Сталин). А после XIX съезда такой ответ означал бы твердую двойку, потому что «утес» превратился в мировую социалистическую систему. Моему другу А. Давидсону, круглому отличнику, на госэкзамене в 1953 г. попался вопрос «Три источника силы и могущества нашей партии по докладу Маленкова на XIX съезде партии». Он отболтал все как надо, но получил тройку, потому что важна была именно священная троица. В это время я был связан с «Вопросами философии» и спросил кого-то из тех, кто этот доклад сочинял, – естественно, они тоже этого не знали.

Задумываться о священных формулах было опасно. Один мой коллега-философ, устав от долгого экзамена и услышав в ответ на вопрос о причинах превращения человека в обезьяну, что обезьяна встала на задние ноги и кругозор ее расширился, спросил: «А как насчет жирафа? У него кругозор должен быть еще шире?» Студент задумался, а преподавателя прошиб холодный пот: он вспомнил, что это чуть ли не дословная цитата из ранней работы Сталина «Анархизм или социализм». Такие шуточки могли кончиться плохо. Не дав студенту опомниться, он поставил ему пятерку и отпустил. Все обошлось.

На младших курсах я интересовался всеми предметами. Но уже в начале третьего курса первоклассный специалист по истории английской революции доцент Генрих Рувимович Левин дал мне тему: общественно-политические взгляды Джона Мильтона. Эта работа превратилась затем в кандидатскую диссертацию. Я сомневался, смогу ли читать английские тексты XVII века, если даже современный английский знаю плохо, но Левин заверил меня, что языковые навыки совершенствуются в процессе работы. Он был прав. Сначала действительно было трудно, я смотрел в словаре каждое второе слово. Сказывалась и низкая общеисторическая культура. Например, я не мог понять, что значит «Mosaic law», – никакого «мозаичного закона» в словаре не было. Потом до меня дошло, что речь идет о законе Моисея, историю религии мы вовсе не изучали.

Молодость преодолевает все. Я с увлечением штудировал политические памфлеты XVII века. Между прочим, оказалось, что мильтонова «Ареопагитика» («Речь о свободе печати») была в 1789 г. издана во Франции, но кто ее перевел – было неизвестно. Я рискнул спросить наезжавшего в Ленинград академика Тарле. Евгений Викторович любезно обещал навести справки в Москве и в следующий свой приезд сообщил мне, что перевод принадлежит Мирабо. Я был потрясен: старый академик не забыл и не поленился выполнить просьбу постороннего мальчишки-студента! В следующем поколении ученых-гуманитариев такая обязательность стала крайне редкой. Да и многих ли академиков того времени можно было вообще спросить о чем-либо конкретном?

К сожалению, ни источниковедению, ни культуре научной работы нас не учили. Дело доходило до абсурда. Вместо того чтобы цитировать сочинения Мильтона и его современников по новейшим современным изданиям, я делал это по первым изданиям XVII в. И никто мне не объяснил, что так делать нельзя! В общем, несмотря на отличные отметки, в основном и главным я был самоучкой.

Наивность моей «методологии» помог осознать случай. На общеинститутской конференции студентов-отличников я на полном серьезе поделился своим «творческим опытом»: если начинать с углубленного изучения специальной литературы, будет трудно освободиться из-под ее влияния, поэтому я начинаю с чтения первоисточников, а уже потом смотрю литературу. Руководивший конференцией знаменитый старый литературовед Василий Алексеевич Десницкий тактично, не задевая мальчишеского самолюбия, сказал, что в таком подходе, конечно, есть свой резон, но при наивном чтении первоисточников ты воспринимаешь только самый поверхностный срез, который наверняка уже исследовали твои предшественники. Поэтому разумнее все же начинать с изучения специальной литературы и из столкновения разных точек зрения выводить собственные вопросы и гипотезы. Старый профессор был прав. Кстати, когда потом в разговоре с ним я упомянул, что работаю преимущественно в «Публичке», он заметил, что Публичную библиотеку так называть не стоит (самому мне «неприличные» ассоциации в голову не приходили). Прошло много лет, язык стал гораздо более вольным, но совета Десницкого я не нарушаю.

Впрочем, любовь к старинным фолиантам имела и свою положительную сторону. В студенческие годы я сначала работал в студенческом зале Публичной библиотеки; учитывая мой юный возраст, даже это было привилегией. Но так как я постоянно выписывал из фонда горы иностранной литературы, меня нередко вызывали работать в научный зал. Однажды я выписал первое издание педагогического трактата Яна Амоса Коменского, которое, как мне было известно, существует в мире только в двух экземплярах (у нас и в Британском музее), и, к моему изумлению, мне его прислали. А сборник стихов Есенина нужно было читать в Круглом зале, под присмотром (он не был запретным, но не поощрялся и давно не переиздавался, а читатели выдирали страницы). Когда я рассказал это заведующей залом, та оценила мою эрудицию и добилась, чтобы мне выписали пропуск в научный зал. Вообще, библиотекари мне всю жизнь помогали, я глубоко уважаю людей этой профессии.

Супруги Люблинские

Страсти к старинным книгам я обязан знакомством и дружбой с Владимиром Сергеевичем (1903–1968) и Александрой Дмитриевной (1902–1980) Люблинскими. Каталоги Публичной библиотеки никогда не отличались единообразием, старые книги приходилось искать в разных отделах. Узнав, что в ГПБ хранится библиотека Вольтера, я подумал, что надо бы заглянуть и туда: вдруг там найдется что-то интересное, например пометки Вольтера на книгах моего героя? Услышав, зачем я пришел, заведовавший отделом редкой книги Владимир Сергеевич улыбнулся, сказал, что такой метод поиска книг несколько провинциален, но, в конце концов, раз уж вы пришли... Владимир Сергеевич показал мне библиотеку Вольтера, познакомил с ее хранителями Львом Семеновичем Гордоном и Натальей Васильевной Варбанец и пригласил заходить, что я стал охотно делать. Через некоторое время он представил меня Александре Дмитриевне, работы которой мне были известны. Так началось наше знакомство, которое со временем, несмотря на большую разницу в возрасте, переросло в дружбу.

Общих профессиональных интересов в узком смысле этого слова у нас не было. Когда я окончил институт, Владимир Сергеевич приглашал меня поступить к нему в аспирантуру по истории книги, но я предпочел остаться на своей кафедре. Однако Люблинским нравилась моя одержимость наукой, а мне было интересно с ними. Это были довольно разные люди (Александра Дмитриевна была скорее жесткой, а Владимир Сергеевич удивительно душевным и мягким), но оба поражали меня своей эрудицией. Иногда это даже вызывало чувство неполноценности, я чувствовал, что никогда не стану столь же образованным. Но когда Александра Дмитриевна рассказывала о своих учителях, особенно об О. А. Добиаш-Рождественской, я улавливал в ее рассказе сходные нотки, и это меня утешало. Со временем я понял, что люди разных поколений различаются не столько объемом своей эрудиции, сколько ее содержанием: необходимые новые знания вытесняют часть старых, которые отчасти утрачивают свое бывшее значение, становясь достоянием специалистов, но почтение к учителям от этого не уменьшается.

Особенно пригодились мне знания Люблинских, когда я начал заниматься историографией и философией истории. Люблинские живо интересовались этими вопросами, мы много говорили на эти темы. В 1955 г. мы даже написали с Александрой Дмитриевной совместную статью о Марке Блоке, где впервые за долгие годы в Советском Союзе были сказаны добрые слова о «буржуазном историке».

Но главным в наших отношениях была человеческая сторона. В доме Люблинских можно было говорить обо всем, тебя внимательно выслушивали и тактично поправляли. Как-то раз я сказал, что одна плохая опубликованная статья лучше трех хороших в портфеле. Люблинские не стали осуждать мой мальчишеский карьеризм, но сказали, что это неправильно по существу. Плохая, недобросовестная работа легко становится привычкой, от которой человек уже не может избавиться. Хорошо работать надо не столько ради результата, сколько ради собственного интеллектуального и морального самосохранения.

Исключительно внимательно и доброжелательно Люблинские относились к молодым людям. Александра Дмитриевна всегда любовно рассказывала о своих учениках и ученицах, заботилась об их судьбах. Однажды она показала мне письмо своей ученицы, преподававшей не то в Витебске, не то в Харькове. Та писала, что не знает, что делать с талантливым второкурсником, который перерос уровень провинциального вуза и в придачу вызывает к себе опасную неприязнь острым и непочтительным языком, и просила Александру Дмитриевну прочитать его курсовые работы о Данте и Макиавелли. Александра Дмитриевна предложила мне прочитать эти рукописи, и мне они тоже показались талантливыми. Вскоре их автор, Леня Баткин, приехал на несколько дней в Ленинград, и Александра Дмитриевна нас познакомила.

Насколько я знаю, она и в дальнейшем помогала ему, чем могла, хотя стили их научного мышления были очень разными. Позже Л. М. Баткин стал выдающимся ученым, крупнейшим специалистом по итальянскому Возрождению, а в период перестройки – и общественным деятелем.

До последних своих дней Владимир Сергеевич и Александра Дмитриевна сохраняли свежесть восприятия жизни, в них не было ни тени консерватизма. Оказавшись во Франции во время студенческой революции 1968 г., Люблинская была целиком на стороне студентов, не правительства. Мы даже слегка поспорили об этом.

К сожалению, смерть Александры Дмитриевны была, возможно, ускорена недоброжелательным отношением администрации Ленинградского отделения Института истории. Получив возможность ездить за границу лишь в конце жизни, Люблинская этим, естественно, очень дорожила. Но когда она в последний раз собралась по частному приглашению (за казенный счет ездили другие, не столь ученые люди) в Англию, администрация ЛОИИ под разными предлогами (возраст, плохое здоровье, хотя А. Д. два года перед этим ни разу не бюллетенила) отказывала ей в характеристике, без которой нельзя было получить разрешение на выезд. Когда же Александра Дмитриевна категорически потребовала – благоразумные люди этого никогда не делали, чтобы не восстановить против себя всю партийно-кагебешную систему, вы могли просить, но не жаловаться, – выдать ей какую угодно характеристику, ей выдали абсолютно положительный текст, заканчивавшийся словами, что к поездке ее не рекомендуют ввиду преклонного возраста. В ОВИРе очень удивились такой беспрецедентной бумаге, но сказали, что состояние здоровья путешественника их не касается, и выдали Александре Дмитриевне заграничный паспорт. Это доказывает, что дирекция ЛОИИ действовала в данном случае не по подсказке КГБ, а в порядке самостоятельности, так же как в Москве руководство Института истории до перестройки никуда не выпускало А. Я. Гуревича.

Эта оскорбительная волокита стоила Люблинской много нервов. Когда перед самым вылетом, уже после таможенного контроля, у нее вдруг неожиданно забрали «на проверку» паспорт (через полчаса его вернули, позже Александра Дмитриевна «вычислила», что дело было в плохой фотографии), она подумала, что ее таки достали. В самолете у нее произошел тяжелый сердечный приступ, от которого она в Англии с трудом оправилась. По возвращении она рассказывала об этом с горьким юмором.

Впрочем, отсидеться за старыми фолиантами в пору социальных бурь было невозможно. К концу моего аспирантского срока началась кампания против космополитизма, в институте пошли разговоры: «Зачем поднимать какого-то англичанина?» Перетрусившие члены кафедры стали критиковать меня за идеализацию Мильтона, дескать, «революционность его была относительна, а буржуазная ограниченность – абсолютна» (дословная цитата одной очень умной женщины). Я, конечно, понимал, что это чушь. Тем не менее пришлось с серьезным видом доказывать, что Милтон, при всем его величии, «не созрел» до идеи диктатуры пролетариата и до исторического материализма, а для характеристики «реакционной буржуазной историографии» заимствовать слова из энгельсовского «Анти-Дюринга»; что-то, а браниться основоположники умели...

Конец моей аспирантуры совпал во времени с кадровым разгромом Герценовского института (слабые отголоски «ленинградского дела»). Многолетнего директора и заведующего нашей кафедрой, в высшей степени порядочного человека, Ф. Ф. Головачева сняли, назначив на это место какого-то «основщика», который перед защитой поручил прочитать мою диссертацию кому-то из своих коллег. Дело было не во мне: в период борьбы с космополитизмом любая «западная» тема выглядела подозрительно. Что написал этот человек – не знаю, видимо, ничего плохого. Новый директор лично присутствовал на защите, уйдя ради этого с какого-то важного совещания, тем не менее защита прошла благополучно, все проголосовали за.

Впрочем, диссертация не занимала меня целиком. Меня тянуло к более общим, философским вопросам. Не сказав никому ни слова, я сдал на юридическом факультете ЛГУ второй кандидатский минимум – по теории государства и права и истории политических учений. Когда об этом узнали на кафедре, меня осудили, хотя никаких претензий к моей основной работе не было. Я не стал спорить, но тут же сдал на кафедре Киселева третий минимум, по философии, а затем представил вторую кандидатскую диссертацию – об этических воззрениях Н. Г. Чернышевского.

Если работа о Мильтоне была исключительно книжной, то философская диссертация выросла из комсомольской работы. В студенческие и аспирантские годы я был внештатным инструктором по школам Куйбышевского райкома комсомола Ленинграда. Это дало мне возможность восстановить отношения со сверстниками, которые еще были школьниками. Мои ближайшие друзья Аполлон Борисович Давидсон (в дальнейшем – крупнейший историк-африканист) и Изяслав Петрович Лапин (в дальнейшем – выдающийся психофармаколог) оба учились в 206-й школе.

Комсомольской карьеры я делать не собирался, с моей фамилией это было бы невозможно. Но человеческая обстановка в райкоме была приятной и веселой, всем старались помочь, чем могли. Даром что мой однокурсник Александр Филиппов, который, собственно, и привел меня в райком, где был сначала вторым, а затем первым секретарем, позже стал самым страшным секретарем ленинградского обкома партии по пропаганде за весь послевоенный период.

Между прочим, благодаря комсомольской работе я познакомился с Хореографическим училищем. В райком пришла анонимка, что в училище детей обворовывают, а А. Г. Ваганова бьет своих учениц до синяков. Мне поручили это тактично расследовать. Агриппина Яковлевна и ее уроки произвели на меня сильное впечатление. Ей было, по моим тогдашним меркам, уже много лет, но когда мы вместе поднимались по лестнице на третий этаж, одышки у нее, в отличие от девятнадцатилетнего меня, не было. В классе у девочек ноги дрожали, а когда Ваганова, показывая им очередное па, приподымала свое длинное черное платье, ее нога на высоком каблуке стояла как железная. Разговоры о битье оказались вздором. Когда Ваганова, показывая что-то ученице, хватала ее за руку или за ногу, ее сильные пальцы иногда действительно оставляли синяки, но никто из учениц не считал это проявлением злости. Ваганова заботилась о своих ученицах. Помню, однажды она мне жаловалась, что в Кировский театр берут Ольгу Моисееву, но не хотят брать Нинель Кургапкину. «Она не менее талантлива, а что у нее другая фигура, так ведь и вкусы у людей разные!» В конце концов Ваганова настояла на своем, и обе балерины стали гордостью Кировского балета.

После этого я часто бывал в училище, в том числе на вечерах. На одном выпускном вечере после обильного банкета художественный руководитель училища в начале быстрого вальса, танцевать который я не умел, «вручил» меня одной из выпускниц, кажется Алле Осипенко. У меня хватило ума попросить девушку, если мы до того не свалимся, по окончании танца подвести меня к стенке. Все прошло благополучно, я ухватился за поручень, и еще несколько минут репетиционный зал кувыркался у меня в глазах. С тех пор я быстрого вальса не танцевал.

Сложные проблемы возникали у ребят не только с учебой, но и с поклонниками. У девочек поклонники были постарше и административных проблем им не создавали, а мальчишкам девицы писали любовные послания на только что отремонтированной стене. Комендант возмущался и требовал прекратить безобразие. «Так ведь это не я пишу, а мне пишут!» – «Но мне же не пишут! Тебе пишут, ты и отвечай».

Кстати, именно в училище я впервые столкнулся с тем, как важно для подростков сексуальное образование. Один мальчик под страшным секретом рассказал мне, как он обнаружил под крайней плотью воспаление, испугался, заглянул в энциклопедию и нашел у себя чуть не

все венерические заболевания. Занести их он мог только руками, но чем черт не шутит? В общежитии такое никому не расскажешь. Парень уже выбирал способ самоубийства, но все-таки сходил в вендиспансер. Доктор засмеялся, сказал, что нужно как следует мыться, промыл марганцовкой, присыпал стрептоцидом (им тогда лечили все воспаления), и все сифилисы у мальчишки прошли. А могло быть и иначе.

Важнейшим результатом моего знакомства с Хореографическим училищем стал интерес к балету. Благодаря директору Р. Б. Хаскиной мне посчастливилось увидеть Уланову в «Жизели», и не с галерки, а вблизи, из директорской ложи. Обычно балет для меня – прежде всего красивое зрелище, а тут красота и техника не замечались, это была настоящая драма. С тех пор я по-настоящему полюбил балет, и с возрастом это чувство лишь усиливалось (в отличие от оперы, которую я в молодости любил сильнее).

Комсомольская работа повлияла и на мои научные интересы. Пытаясь преодолеть официальную казенщину, я проводил с ребятами диспуты на интересовавшие их моральные темы (о любви, дружбе, смысле жизни и т. п.), и на одном из них возник вопрос, как относиться к теории разумного эгоизма Чернышевского. Я заинтересовался, стал читать. К тому времени о Чернышевском было защищено уже около шестисот диссертаций, но о его этике публикаций почему-то не было. Так у меня появилась вторая кандидатская диссертация и первая статья в «Вопросах философии» (1950).

Защита в одном и том же ученом совете, с интервалом в три летних месяца (первая состоялась в июне, а вторая – в сентябре), двух кандидатских диссертаций по разным наукам была делом абсолютно неслыханным. На факультете ко мне хорошо относились, у меня были очень уважаемые оппоненты.

По исторической диссертации это была Инна Ивановна Любименко (1879–1959), доктор Сорбонны, известный архивист. Дочь академика и вдова академика, помимо чисто исторических сведений, она рассказала мне замечательные вещи о дореволюционной жизни, как все тогда ездили отдыхать за границу, где все было неизмеримо лучше и дешевле, чем в России (например, в Крыму). А второй оппонент, декан истфака Пединститута имени Покровского Моисей Александрович Коган (1907–1982), удивительно красивый и остроумный человек (кстати, родной отец Юрия Левады), вообще был кладезем премудрости. Его позднейшие студенты, уже в Герценовском институте, вспоминают: «Мы никак не могли понять, в какой области истории он специализируется. Казалось, Моисей Александрович знает все: латынь, греческий, средневековый английский, немецкий, французский... На первом курсе он читал лекции по истории древнего Востока и античности. Вел интересный спецкурс по истории культуры средневековой Франции. И каково было наше удивление, когда он защищал докторскую диссертацию по истории Скандинавии нового времени» (herzentsn.ru/hystory/60.shtml).

По философской диссертации моим первым оппонентом был бывший декан философского факультета ЛГУ, самый старый и образованный историк философии, профессор Михаил Васильевич Серебряков (1879–1959). Докторов наук по философии в то время было очень мало, я шел к нему на прием с трепетом. Шикарная профессорская квартира на Литейном этот трепет еще больше усилила. Плюс длинные седые усы, которые некоторые даже принимали за бороду. Серебряков принял меня любезно, но, прежде чем дать согласие, стал просматривать рукопись, причем начал с библиографии. Видимо, у меня на лице выразилось изумление, и Михаил Васильевич мне объяснил, почему начинать нужно именно с литературы. «Понимаете, – сказал он, – диссертация может быть творческой или нетворческой, но степень ее профессиональности проще всего узнать по библиографии. Из того, что человек читал и как он составил библиографию, видна его общенаучная культура». Моя работа в этом плане сомнений у Серебрякова не вызвала, а сам я с того раза неизменно поступаю так же – просматриваю библиографию. Правда, теперь молодые люди научились составлять списки нечитаной литературы, но это легко заметить.

По второй диссертации у меня была также опубликована статья в «Вопросах философии», что было весьма престижно, так что факультетский совет в обоих случаях единогласно проголосовал «за».

Зато на «большом», общеинститутском совете произошел скандал. Стали говорить, что защита двух кандидатских диссертаций, когда нормальный аспирант не справляется в срок с одной, напоминает рекордсменство и может подорвать идею присуждения ученых степеней. Один из самых уважаемых в институте профессоров геолог А. С. Гинзберг выступил в мою защиту, сказав, что нужно разграничить два вопроса. Разумеется, писать две диссертации нецелесообразно, молодой человек мог бы применить свои способности более рационально, но коль скоро диссертация уже представлена, оценивать ее нужно только по ее качеству. Идею присуждения ученых степеней подрывает плохое качество диссертаций, а в данном случае никто сомнений не высказывал. Тем не менее восемь членов совета проголосовали против (при 24 «за»). Усвоив этот урок, третью, юридическую диссертацию, о правосознании, я заканчивать не стал, ограничившись статьей в «Вопросах философии» (и хорошо сделал, работа была очень плохая).

Хотя тройные кандидатские экзамены способствовали расширению моего общенаучного кругозора, писание параллельно нескольких диссертаций было, конечно, проявлением незрелости и мальчишеской дерзости. Никаких практических выгод это не приносило, а в науке важно не количество, а качество. Но мне было только двадцать два года.

Вологодский пединститут

...По моему мнению, если начальник не делает нам зла, это уже большое благо.

Пьер Огюстен Бомарше

Когда я окончил аспирантуру, Киселев, который был тогда деканом истфака, пытался оставить меня в институте, но из этого, естественно, ничего не вышло («неарийская» фамилия была значительно важнее двух диссертаций и статьи в «Вопросах философии»), и меня распределили на кафедру всеобщей истории Вологодского пединститута, что по тем временам было не так уж плохо. Герценовская кафедра новой истории подверглась частичному кадровому разгрому по национальному признаку. Мой шеф Г. Р. Левин уцелел, а самого приятного человека на кафедре, доцента Григория Семеновича Ульмана, уволили; заслуженный человек, ветеран войны, лишь через год с трудом нашел себе место в Калининграде.

В Вологде я читал параллельно шесть разных лекционных курсов плюс множество лекций в системе партийного просвещения. Недельная нагрузка доходила до сорока (!) часов. Преподавательскую работу я всегда любил, хотя некоторые курсы, например новая и новейшая история стран Востока, были мне, мягко говоря, слабо знакомы, а времени на подготовку не хватало, так что мне самому было интересно, что в этой истории произойдет в моей следующей лекции (учебник заканчивался задолго до современности). Впрочем, особых интеллектуальных трудностей не возникало: кругом были сплошные враги СССР. Помню, как я разоблачал приспешника американского империализма иранского премьера Мосаддыка (позже «выяснилось», что это был прогрессивный деятель, пытавшийся национализировать иранскую нефть). Однако мое горло такой нагрузки не выдержало, дело закончилось тяжелым хроническим ларинго-фарингитом, который мучил меня всю остальную жизнь.

Жизнь в преподавательском общежитии отличалась от домашней. Первое, что меня поразило, были сплетни. Самая страшная история произошла с моим предшественником. Одна дама, член ВКП(б) с 1917 г., нашла в уборной на этаже разорванную газету (туалетной бумаги в те годы не существовало) с портретом тов. Сталина, на которой был указан номер комнаты подписчика. Поскольку этого человека она за что-то ненавидела, то отнесла газету в партком как свидетельство политической неблагонадежности тов. Х. Проигнорировать столь серьезное заявление секретарь парткома не мог, а стоило дать делу ход, как остановить его было бы уже невозможно. Неуважение к портрету Вождя и Учителя было чревато потерей не только работы, но, возможно, свободы и самой жизни. К счастью, партсекретарь оказался на редкость порядочным и умным человеком. Он полностью разделил негодование коммунистки Ю., но спросил, видела ли она своими глазами, что товарищ Х. сам принес и использовал священную газету в грязных целях, ведь это могли сделать его дети? Товарищ Ю., как честная женщина, призналась, что этого она не видела. В таком случае, сказал секретарь, мы не будем открывать персонального дела, а ограничимся строгим личным внушением. Тов. Ю. не возражала, а вызванный в партком тов. Х. обещал быть более внимательным. Таким образом, инцидент был исчерпан, а коллеги впредь предупреждали новых жильцов, что в уборной надо опасаться не только того, что тебя могут увидеть без штанов.

Лично у меня подобных проблем не возникало, но однажды мне рассказали, что жившая в комнате напротив преподавательница истории КПСС (она постоянно ссорилась с мужем, майором КГБ, споры часто переносились в коридор, но пьяный майор сильно уступал жене в искусстве неязычной словесности, а потому всегда заканчивал словами: «Баба, ты и есть баба!») распространяет слухи, будто моя мама раскладывает пасьянсы. Это была наглая клевета! Моя мама сроду не раскладывала пасьянсов, карт в нашем доме не было, да и сами

пасьянсы, в отличие от азартных игр, вовсе не считались предосудительными. В первый момент я возмутился и хотел призвать сплетницу к ответу, но моя умная мама рассудила иначе. Отсмеявшись, она сказала, что это хорошая идея, купила карты, научилась раскладывать пасьянсы и занималась этим до конца жизни. В старости, когда у нее развился тяжелый полиартрит, это стало для нее не только развлечением, но и полезным упражнением для пальцев.

Вологодский быт также сильно отличался от ленинградского. Люди были исключительно честными, никто и нигде, даже официантки в столовой и почтальоны, не брал чаевых, но жили трудно. Знаменитое вологодское масло я привозил из Ленинграда. Весной мяса и рыбы не было ни в магазинах, ни на рынке, ни в общепите. Студенты в общежитии, не дотягивая до стипендии, иногда голодали, но стеснялись попросить помощи.

Что касается преподавателей, среди них оказалось немало интересных и перспективных людей. Одним из них был молодой психолог Артур Владимирович Петровский; с ним и его очаровательной женой Иветтой Сергеевной у нас завязалась дружба, продолжавшаяся до самой его смерти.

Артур Владимирович Петровский (1924–2006)

Диапазон научных интересов Петровского был исключительно широк. Начав с изучения истории русской психологии (его кандидатская диссертация была посвящена Радищеву, а в последние годы жизни он много писал о соотношении психологии и политики), он стал в дальнейшем крупнейшим специалистом в области социальной психологии (теория коллектива) и психологии личности, удачно сочетая оригинальный теоретический подход с эмпирическими исследованиями. В конце жизни он продуктивно занимался общими проблемами теоретической психологии.

Труды Артура Владимировича хорошо знают не только психологи, но и учителя. В 1970-х годах он инициировал издание и был автором и редактором целой серии учебников и учебных пособий по общей, возрастной и педагогической психологии, по которым учились студенты педвузов. Именно Петровский побудил меня заняться психологией юношеского возраста и написать сначала главу в его учебник, а затем и самостоятельное учебное пособие по этому предмету. Как никто другой, он много сделал для подготовки энциклопедических словарей и справочников по психологии, а это очень тяжелая и неблагодарная работа.

Петровский был не только ученым, но и талантливым популяризатором науки. Его книги для родителей вошли в золотой фонд отечественной психологии, а его статьями в массовой печати, например в «Литературной газете», читатели одинаково зачитывались и в начале 1960-х (знаменитая статья «Педагогическое табу»), и в 2006 году. Он обладал настоящим литературным талантом и искрометным чувством юмора. При его участии было выпущено несколько отличных научно-популярных фильмов по психологии. Он был также консультантом замечательного фильма Ролана Быкова «Чучело», в котором впервые была поставлена проблема, которую сегодня в мире называют буллингом.

Очень велика была роль Петровского как организатора науки. В трудные 1990-е годы он много способствовал обновлению Академии педагогических наук СССР, стараясь превратить ее из оплота консервативной партийно-чиновничьей ортодоксии в подлинный штаб современной педагогической науки. Деятельность Петровского на посту первого президента Российской академии образования еще ждет своего исследователя. Артур Владимирович был исключительно трудолюбив. Будучи уже зрелым человеком и к тому же высокопоставленным научным чиновником, имевшим в своем распоряжении помощников и референтов, он не поленился овладеть английским языком настолько, что смог читать не только специальные статьи, но и детективные романы. Его последние годы были поистине героическими. Тяжело больной слепой ученый умудрялся не только на слух оценивать и редактировать чужие тексты, но и про-

должал писать собственные книги. Последняя его книга «Психология и время» закончена буквально накануне смерти!

Петровский был не только ярким ученым, преподавателем и публицистом, но и замечательным семьянином, мужем, отцом и дедом. Другого такого большого семейного клана среди моих знакомых, пожалуй, нет. Хотя младшие поколения и здесь живут не совсем так, как старшие. Сильной стороной Артура Владимировича было то, что он, насколько я знаю, не пытался этому противостоять. Терпимость – необходимое условие мирного сосуществования с детьми и внуками.

Очень интересным человеком был профессор зоологии Павел Викторович Терентьев (1903–1970). До того он заведовал кафедрой в Ленинградском университете, но как бывший зэк, а также за морганизм-вейсманнизм и увлечение математическими методами в 1949 г. был отовсюду изгнан и нашел убежище в Вологде (через несколько лет он благополучно вернулся в Ленинград). Это был разносторонне образованный человек. Вечерами, когда мы с ним прогуливались по заснеженной Вологде, обсуждая нашу невеселую жизнь, Павел Викторович развивал своеобразную теорию биологического оптимизма, основанную на опыте ледникового периода.

Когда-то давно, говорил он, на землю пришло оледенение, противостоять ему было невозможно, все земные твари погибали, но в некоторых местах остались ниши, в которых какие-то животные случайно уцелели. Им было плохо и холодно, однако затем ледник постепенно начал таять, а сохранившиеся существа выжили и заселили Землю. Может быть, для нас Вологда – именно такая ниша? Никаких других оснований для оптимизма в 1950–52 годах не было.

Но для молодого человека ледниковый оптимизм – философия не совсем подходящая. Я не только работал, но и позволял себе довольно рискованные поступки. С одного из них, собственно, и началось наше знакомство с Терентьевым. В то время всюду, а тем более – в провинции, всем командовал обком партии. Первый секретарь Вологодского обкома был человек приличный и честный, у меня учился его сын, отличный парень, которому отец никаких вольностей не позволял. Зато секретарь по пропаганде К., кандидат философских наук из Академии общественных наук при ЦК КПСС, отличался фантастическим невежеством и хамством.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.